

Воспоминания о Бессарабии // Пушкин в воспоминаниях современников. -
3-е изд., доп. - Т. 1-2. //Академический проект, СПб.:, 1998
FB2: "rvvg ", 15 April 2010, version 1.0
UUID: 965639B0-8673-4E32-9EDC-2E7358CCCB3B
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Фомич Вельтман

Воспоминания о Бессарабии

Содержание

#1	0003
Примечания	0031

*Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиным воспета
И славой русскою полна.
Еще доньне тень Назона
Дунайских ищет берегов...*

Пушкин, "Баратынскому. Из Бессарабии"

Когда приостановишься на пути и оглянешься назад, сколько там было света и жизни в погасающем, сумрачном отдалении, сколько потеряно там надежд, сколько погребено чувств! *Теперь и тогда, здесь и там ...* Сколько времени и пространства между этими словами! И все это населено уже бесплотными образами, безмолвными призраками!

Когда пронеслась печальная весть о смерти Пушкина, вся прошедшая жизнь его воскресла в памяти знавших его, и первая грусть была о Пушкине-человеке. Все перенеслось мыслию в прошедшее, в котором видело и знало его, чтобы потом спросить себя: где же он? Я узнал его в Бессарабии...

Когда я приехал в Кишинев, это был уже не тот город, который я оставил за два или за

три месяца. Народ кишел уже в нем. Вместо двенадцати тысяч жителей тут было уже до пятидесяти тысяч на пространстве четырех квадратных верст. Он походил уже более на стечение народа на местный праздник, где приезжие поселяются кое-как, целые семьи живут в одной комнате. Но не один Кишинев наполнился выходцами из Молдавии и Валахии; население всей Бессарабии, по крайней мере, удвоилось. Кишинев был в это время бассейном князей и вельможных бояр из Константинополя и двух княжеств; в каждом доме, имеющем две-три комнаты, жили переселенцы из великолепных палат Ясс и Букареста. Тут был проездом в Италию и господарь Молдавии Михаил Суццо; тут поселилось семейство его, в котором блистала красотой Ралу Суццо; тут была фамилия Маврокордато, посреди которой расцветала Мария, последняя представительница на земле классической красоты женщины. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что Еллада, в виде божественной девы, появилась на земле, чтобы вскоре исчезнуть навеки. Прежде было приятно жить в Кишиневе, но прежде были буд-

ни перед настоящим временем. Вдруг стало весело даже до утомления. Новые знакомства на каждом шагу. Окна даже дрянных магазинов обратились в рамы женских головок; черные глаза этих живых портретов всегда были обращены на вас, с которой бы стороны вы ни подошли, так как на портретах была постоянная улыбка. На каждом шагу загорался разговор о делах греческих: участие было необыкновенное. Новости разносились, как электрическая искра, по всему греческому миру Кишинева. Чалмы князей и кочулы бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом, с письмами, полученными из-за границы. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход; всему верили, все служило пищей для толков и преувеличений. Однако же, во всяком случае, мнение должно было разделиться на двое: одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нарушивших тучную жизнь бояр в княжествах. Молдаване вообще желали успеха туркам и порадовались от души, когда фанариотам резали головы, ибо в каждом видели будущих господарей своих.

Между тем в саду выстроилась зала клубная, в которой победа была всегда на стороне военных, а в зале Крупенского открыли театр немецкой труппы актеров, переселившейся из Ясс, которая продекламировала нам всего Коцебу, причем не были упущены, к удовольствию публики, и балеты.

Между тем в Молдавии дела шли очень плохо; у главнокомандующего греческих войск не было войска, у начальника его штаба не было текущих дел. В составленную Ипсиланти гвардию, под именем "бессмертного полка", шли только алчущие хлеба, но не жаждущие славы; весь же боевой народ — арнауты, пандуры, гайдуки, гайдамаки и талгари — нисколько не хотел быть в числе бессмертных и носить высокую мерлушковую кушму (шапку), украшенную Адамовою головой. Им не нравилось управление штаба и гораздо было привольнее в шайках Йоргаки Олимпиота и Тодора Владимиреско, которого цели были совсем иные. Вместо того чтобы соединиться с Ипсиланти, он отвечал ему: "Ваша цель совершенно противоположна моей. Вы подняли оружие на освобождение Гре-

ции, а я — на избавление своих соотечественников от греческих князей. Ваше поле не здесь, а за Дунаем; вы боритесь с турками, а я буду бороться с злоупотреблениями". Таким образом, Ипсиланти был не в своей тарелке, его маневры против турок не удались, и он принужден был оставить поле чести, предав вечному проклятию бояр Савву Дуку, Василия Парлу, Георгия Мано, Григораша Суццо, Николая Скуфо и Василия Каравию. Остаток армии етеристов был преследован турками до переправы Скулянской через Прут. Здесь был последний бой пред вратами спасения. В это время от ожесточенных турок сбежали толпы жителей Молдавии к переправе. Истощив последние силы, сжатые турками в кучу, етеристы бросили оружие, побежали к переправе, смешались с переправляющимся народом; но турки ринулись к переправе и воздержались только готовностью нашей батареи, а между тем испуганные беглецы кинулись вплавь через реку, переплыли и тонули, подстреливаемые турками. Почти этим, исключая нескольких битв в оградах монастырей Молдавии и Валахии, кончилась етерия этих

княжеств.

Не помню, но, кажется, в исходе этого года пронеслись слухи, что едет в Кишинев прославленный уже юный поэт Пушкин. Пушкин приехал в Кишинев в то время, как загорелась греческая война; не помню, но кажется, что он был во время Скулянского дела, и стихотворение «Война» внушено ему в это время общего голоса, что война с турками неизбежна:

*Война!.. Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник ме-
сти,
Засвищет вокруг меня губитель-
ный свинец!
И наконец, в конце он с нетерпением
воскликает:
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не заки-
пела?..[1]*

В это время исправлял должность наместника Бессарабии главный попечитель южных колоний России генерал Инзов. Вскоре узнали мы, что под его кровом живет Пуш-

кин. Наконец Пушкин явился в обществе кишиневском.

Здесь не пропущу я следующее, касающееся до тогдашнего моего самолюбия. В Кишинев русская поэзия еще не доходила. Правда, там, за несколько лет до меня, жил Батюшков;^[2] но круг военных русских его времени переменился; с переменой лиц и память об нем опять исчезла; притом же он пел в тишине, и звуки его не раздавались на берегах Быка. После него первый юноша со склонностью плести рифмы был я; хотя эта склонность зародилась еще на двенадцатом году в молельной комнате Московского университетского благородного пансиона, и потом, восплащенная песнью В. А. Жуковского "Во стане русских воинов", породившею трагикомедию "Изгнание французов из Москвы", была самая жалкая, но я между товарищами носил имя "кишиневского поэта". Причиною этому названию были стихи на кишиневский сад, в которых я воспел всех посещающих оный, профанически подражая воспеванию героев русских. Не стыдясь, однако, пеленок своих, я сознаюсь, что если чудные звуки В. А. Жуковского поро-

дили во мне любовь к поэзии, то приезд Пушкина в Кишинев породил чувство ревности к музе. Но все мое поприще ограничивалось письмами; по какой-то непреодолимой страсти я не мог написать всего письма в прозе: непременно, нечувствительно прокрадывались в него рифмы. Да еще я начинал писать какую-то огромную книгу в стихах и прозе (заглавия не помню; кажется, "Этеон и Лаида"), что-то вроде поэмы из крестовых походов, — только действие на Ниле. Встречая Пушкина в обществе и у товарищей, я никак не умел с ним сблизиться: для других в обществе он мог казаться ровен, но для меня он казался недоступен. Я даже удалялся от него, и сколько я могу понять теперь тайное, безотчетное для меня тогда чувство, я боялся, чтобы кто-нибудь из товарищей не сказал ему при мне: "Пушкин, вот и он пописывает у нас стишки".

Слава Пушкина в Кишиневе гремела только в кругу русских; молдавский образованный класс знал только, что поэт есть такой человек, который пишет «поэзии». Пушкин принадлежал, по их мнению, к свите намест-

ника; в обществе же женщин шитый мундир, статность, красота играли значительнее роль, нежели слава, приобретенная гусиным пером. Однако ж живым нравом и остротой ума Пушкин вскоре покори́л и внимание молдавского общества; все оригинально-странное не ушло от его колючих эпиграмм, несмотря на то что он их бросал в разговоры как будто только по одной привычке: память молодежи их ловила на лету и носилась с ними по городу.

Отец Пульхерии, некогда стоявший с чубуком в руках на запятках *бутки* (коляски) ясского господаря Мурузи, но потом владетель больших имений в Бессарабии, председатель палаты и откупщик всего края, во время Пушкина жил открыто; ему нужен был зять русский, сильная рука которого поддержала бы предвидимую несостоятельность по откупам. Предчувствуя сбирающуюся над ним грозу, он пристроил к небольшому дому огромную залу, разрисовал ее как трактир и стал давать балы за балами, вечера за вечерами. Свернув под себя ноги на диване, как паша, сидел он с чубуком в руках и встречал своих гостей при-

ветливым: «пуфтим» (просим). Его жена, Мария Дмитриевна, была во всей форме русская говорливая, гостеприимная помещица; Пульхерица была полная, круглая, свежая девушка; она любила говорить более улыбкой, но это не была улыбка кокетства, нет, это просто была улыбка здорового, беззаботного сердца. Никто не помнит из знавших ее в продолжение нескольких лет, чтоб она на кого-нибудь взглянула особенно; казалось, что каждый, кто бы он ни был и каков бы ни был, для нее был не более как человек с головой, с руками и с ногами. На балах со всеми кавалерами она с одинаким удовольствием танцевала, всех одинаково любила слушать, и Пушкину так же, как и всякому, кто умел ее рассмешить или польстить ее самолюбию, она отвечала: "Ah, quel vous etes, monsieur Pouchkine!"[3] Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, не ведавшее никогда ни желаний, ни зависти.

Но Пульхерица была необъяснимый феномен в природе; стоит, чтоб сказать мои сомнения насчет ее. Многие искали ее руки, отец и мать изъявляли согласие, но, едва желающий

быть нареченным приступал к исканию сердца, все вступления к объяснению чувств и желаний Пульхерица прерывала: "Ah, quel vous etes! Qu'est-ce que vous badinez!" [4] И все отступались от исканий; сердца ее никто не находил; может быть, его и не было, или, по крайней мере, оно было на правой стороне, как у анатомированного в Москве солдата. Когда по делам своим отец ее предвидел худую будущность, он принужден был влюбиться, вместо дочери, в одного из моих товарищей, но товарищ мой не прельщался несколькимистами тысяч приданого и поместьями бояр. "Мусье Горчаков, — говорил ему Варфоломей, — вы можете положиться на мою любовь и уважение к вам". — "Помилуйте, я очень ценю вашу привязанность, но мне не с вами жить". — "Поверьте мне, что она вас любит", — говорил Варфоломей. Но товарищ мой не верил клятвам отцовским.

Смотря на Пульхерию, которой по наружности было около восемнадцати лет, я несколько раз покушался думать, что она есть совершеннейшее произведение не природы, а искусства. "Отчего, — думал я, — у

Варфоломея только одна дочь, тогда как и он и жена еще довольно молоды?" Все движения, которые она делала, могли быть механическими движениями автомата. "Не автомат ли она?" И я присматривался к ее походке: в походке было что-то странное, чего и выразить нельзя. Я присматривался на глаза: прекрасный, спокойный взор двигался вместе с головою. Ее лицо и руки так были изящны, что мне казались они натянутою лайкой. Но Пульхерия говорит... Говорил и Альбертов андроид с медным лбом. Я обращал внимание на ее разговоры; она все слушала кавалера своего, улыбалась на его слова и произносила только: "Qu'est-ce que vous dites? Ah, quel vous etes!", и иногда: "Qu'est-ce que vous badinez?"[5] Голос ее был протяжен, в произношении что-то особенное, необъяснимое. "Неужели это — новая Галатейя?" — думал я... Но последний опыт так убедил меня, что Пульхерия — не существо, а вещество, что я до сих пор верю в возможность моего предположения. Я замечал, ест ли она. Поверит ли мне кто-нибудь? Она не ела; она не садилась за большой ужин, ходила вокруг столиков, расставленных во-

круг залы, за которыми располагались гости по произволу кадрили, обращаясь то к тому, то к другому, она повторяла: "Pourquoi ne mangez-vous pas?"[6] И если кто-нибудь отвечал, что он устал и не может есть, она говорила: "Ah, quel vous etes!" — и отходила. "Пульхерия не существо, — думал я, — но каким же образом ее отец, сам ли гений механического искусства или приобревший за деньги механическую дочь, хлопочет, чтоб выдать ее замуж?" И тут находил я оправдание своего предположения: ему нужно утвердить за дочерью большую часть богатства, чтоб избежать от бедствий несостоятельности, которую он предвидел уже по худому ходу откупов; зятю же своему он запер бы уста золотом; притом же, кто бы решился рассказывать, что он женился на произведении механизма? Странно, однако, что никто не женился на Пульхерии. Спустя восемь лет я приезжал в Кишинев и видел вечную невесту в саду кишиневском: она была почти та же, механизм не испортился, только лицо немного поистерлось.

Пушкин часто бывал у Варфоломея. Доб-

рая, таинственная девушка ему нравилась, нравилось и гостеприимство хозяев. Пушкин посвятил несколько стихов Пульхерице, которые я, однако же, не припомню.

Происходя из арапской фамилии, в нраве Пушкина отзывалось восточное происхождение. В нем проявлялся навык отцов его к независимости, в его приемах — воинственность и бесстрашие, в отношениях — справедливость, в чувствах — страсть благоразумная, без восторгов, и чувство мести всему, что отступало от природы и справедливости. Эпиграмма была его кинжалом. Он не щадил ни врагов правоты, ни врагов собственных, поражал их прямо в сердце, не щадил и всегда готов был отвечать за удары свои.[7]

Я уже сказал, что Пушкин, по приезде, жил в доме наместника. Кажется, в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе; стены дома треснули, раздались в нескольких местах; генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько странностей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти длин-

нее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постеле и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и он переехал жить к Алексееву. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город, с карандашом и листом бумаги; по возвращении лист был исписан стихами, но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин; из них-то составлялись роскошные нити событий в поэмах: "Кавказский пленник", «Разбойники», начало «Онегина» и мелкие произведения, напечатанные и ненапечатанные. Во время этих-то прогулок он писал "К Овидию" и сказал:

*Но если обо мне потомок поздний
мой
Узнав, придет искать в стране
сей отдаленной
Близ праха славного мой след
уединенной, —
Брегов забвения оставя хладну
сень,
К нему слетит моя признатель-
ная тень,
И будет мило мне его воспомина-*

нье...
Здесь, лирой северной пустыни
оглашая,
Скитался я в те дни, как на берега
Дуная
Великодушный грек свободу вызы-
вал,
И ни единый друг мне в мире не
внимал, —
Но не унижил в век изменой безза-
конной
Ни гордой совести, ни лиры непре-
клонной.

Вероятно, никто не имеет такого полного сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев. Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям.[8]

Чаще всего я видал Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая, веселая беседа, еcarte[9] и иногда, roue varier,[10] "направо и налево", чтоб сквитать выигрыш.

Иногда забавы были ученого рода. В Кишинев приехал известный физик Стойкович.

Узнав, что он будет обедать в одном доме, куда были приглашены Липранди и Раевский, они сговорились поставить в тупик физика. Перед обедом из первой попавшейся «Физики» заучили они все значительные термины, набрались глубоких сведений и явились невинными за стол. Исподволь склонили они разговор о предметах, касающихся физики, заспорили между собою, вовлекли в спор Стойковича и вдруг нахлынули на него с вопросами и смутили физика, не ожидавшего таких познаний в военных.

Читателям "Евгения Онегина" известна фамилия Ларин.[11] Ларин — родня Илье Ларину, походному пьяному шуту, который потешал нас в Кишиневе. Отставной унтер-цейгвахтер Илье Ларин, подобно Кохрену, был enjambeur[12] и исходил всю Россию кругом не по страсти путешествовать, но по страсти к разнообразию для снискания пищи и особенно питья между военной молодежью. Не имея ровно ничего, он не хотел быть нищим, но хотел быть везде гостем. Прибыв пешком в какой-нибудь город, он узнавал имена офицеров и, внезапно входя в двери с дубиной в ру-

ках, протягивал первому руку и говорил громко: "Здравствуй, малявка! Ну, братец, как ты поживаешь? А, суконка, узнал ли ты Ларина, всесветного барина?" Подобное явление, разумеется, производило хохот, а Ларин между тем без церемоний садился, пил и ел все, что только стояло на столе, и, вмешиваясь в разговор, всех смешил самым серьезным образом. Покуда странность его была новостью, он жил в обществе офицеров, переходя гостить от одного к другому; но когда начали уже ездить на нем верхом и не обращали внимания на его хозяйские требования, он вдруг исчезал из города и шел далее незванным гостем. Ларин явился в Кишинев во время Пушкина как будто для того, чтоб избавить его от затруднения выдумывать фамилию для одного из лиц "Евгения Онегина".

Чья голова невидимо теплится перед истиной, тот редко проходит чрез толпу мирно; раздраженный неуважением людей к своему божеству, как человек, он так же забывается, грозно осуждает чужие поступки и, как древний диар, заступает за правоту своего приговора: на *поле* дело решается *Божьим судом*

... Верстах в двух от Кишинева, на запад, есть урочище посреди холмов, называемое Малиной, — только не от русского слова *малина*: здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаем "полю".

Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по изви- вающейся между виноградными кустами тропинке. На лугу, под сенью яблонь и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платье и становятся на место. Здесь два раза «полевал» и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного «поля», и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрелъца и на промах.

Пушкин так был пылок и раздражителен

от каждого неприятного слова, так дорожил чистотой мнения о себе, что однажды в обществе одна дама, не поняв его шутки, сказала ему дерзость. "Вы должны отвечать за дерзость жены своей", — сказал он ее мужу. Но бояр равнодушно объяснил, что он не отвечает за поступки жены своей. "Так я вас заставлю знать честь и отвечать за нее", — вскричал Пушкин, и неприятность, сделанная Пушкину женою, отозвалась на муже. Этим все и заключилось; только с тех пор долго бояре дичились Пушкина; но время скоро излечило рожу на лице Тодора Бальша, и он теперь заседает в диване князя Молдавии.

Я полагаю, что поэма «Разбойники» внушена Пушкину взглядом на талгаря Урсула (*талгар* — разбойник, *урсул* — медведь).[13] Это был начальник шайки, составившейся из разного сброда войнолюбивых людей, служивших етерии молдавской и перебравшихся в Бессарабию от преследования турок после Скулянского дела. В Молдавии и вообще в Турции разбойники разъезжают отрядами по деревням, берут дань, пируют в корчмах, и их никто не трогает. Урсул с несколькими из от-

важных ограбил на дороге от Бендер к Кишиневу купца. Вздумали пировать в корчме при въезде в город. В то время еще никто не удивлялся, видя несколько вооруженных с ног до головы арнаутов; но ограбленный Урсулом прибежал в Кишинев и, заметив разбойников в корчме, закричал: "Талгарь, талгарь!" Народ сбежался; письменная почта была подле; почтмейстер Алексеев, отставной храбрый полковник гусарский, собрал команду почтальонов и бросился с ними к корчме, дав знать между тем жандармскому командиру. Урсул с товарищами, видя себя окруженными, вскочив на коней, понеслись во весь опор чрез город. Только крики: "Талгарь, талгарь!" — успевали их преследовать по улицам. Народ заграждал им путь, но выстрелами прокладывали они себе дорогу вперед, однако же выбрали плохой путь — через Булгарию (улицу Булгарскую). Булгары осыпали их и принудили своротить в сторону к огородам. Огороды лежали на равнине по берегу Быка. Принадлежа разным владельцам, все пространство было в загородах. Лихие кони разбойников перелетали через плетни, но загородок было

много, а толпы болгар преследовали их бегом и догоняли; постепенно утомленные кони падали с отважными седоками, и болгары, как пчелы, осыпали их и перевязывали. На окрестного Урсула съезжался смотреть весь город. Это был образец зверства и ожесточения; когда его наказали, он не давался лечить себя, лежал осыпанный червями, но не охал. Я уверен, что Урсул подал Пушкину мысль написать картину «Разбойников», в которой он подражал рассказу Байрона в "Шильонском узнике" только привычным своим размером.

Точно так же и кочующие цыгане по Бессарабии подали Пушкину мысль написать картину «Цыган», хотя это несчастное племя Ром, истинные потомки плебеев римских, изгнанные илоты, там не столь милы, как в поэме Пушкина.

Говоря о цыганах бессарабских и молдавских, должно упомянуть, что они издавна составляют собственность, рабов боярских, между тем как молдаване — народ вольный, зависящий только от земли. В Бессарабии есть несколько деревень, землянок цыганских; по большей части они живут на краях

селений в землянках, платят владельцу червонец с семьи и отправляются табором кочевать по Бессарабии на заработки. Они — или ковачи, или певцы-музыканты; скрипица и кобза — два инструмента их. Лошадиной меной там они не занимаются. Почти каждая деревня Бессарабии занимает постоянно двух или нескольких цыган-музыкантов для *джоков* (хороводной пляски) по воскресеньям и во время свадеб. Почти каждый бояр также содержит у себя несколько человек музыкантов. В дополнение вся почти дворня каждого бояра состоит из одних цыган, повара и служанки из цыган. Служанки в лучших домах ходят босиком, повара — чернее вымазанных смолою чумаков, и если вы сильно будете брезгливы, то не смотрите, как готовится обед в кухне, которая похожа на отделение ада: это — страшно! Их кормят одною *мамалыгой* или мукой кукурузною, сваренною в котле густо, как саламата. Ком мамалыги вываливают на грязный стол, разрезают на части и раздают; кто опоздал взять свою часть, тот имеет право голодать до вечера. По праздникам прибавляют к обеду их гнилой *бринзы* (творог

овечий). Зато не нужно мыть тарелок во время обедов боярских: эти несчастные оближут их чисто-начисто. Я не говорю, чтоб это было так везде, но так по большей части; по одному, по нескольким примерам я бы даже не упомянул об этом, но это — просто обычай в Бессарабии, в Молдавии и Валахии, во всяком доме, где огромная дворня цыган составляет прислугу. Страсть к наружному великолепию и вместе отвратительную неопрятность de la maison culinaire[14] невозможно достаточно сблизить в воображении.

Войдите в великолепный дом, который не стыдно было бы перенести на площадь какой угодно из европейских столиц. Вы пройдете переднюю, полную арнаутов, перед вами приподнимут полость сукна, составляющую занавеску дверей; пройдете часто огромную залу, в которой можно сделать развод, перед вами вправо или влево поднимут опять какую-нибудь красную суконную занавесь, и вы вступите в диванную; тут застанете вы или хозяйку, разряженную по моде европейской, но сверх платья в какой-нибудь кацавейке, *фермеле*, без рукавов, шитой золотом, или заста-

нете хозяина, про которого невольно скажете:

Он важен, важен, очень важен:

Усы в три дюйма, и седа

Его в два локтя борода,

*Янтарь в аршин, чубук в пять са-
жен.*

Он важен, важен, очень важен.[15]

Вас сажают на диван; арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра позолоченной броне, в чалме из богатой турецкой шали, перепоясанный также турецкою шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мундштук, — подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая, неопрятная цыганочка, с всклокоченными волосами, подает на подносе дульчец и воду в стакане. А потом опять пышный арнаут или нищая цыганка подносят *каву* в крошечной фарфоровой чашечке без ручки, подле которой на подносе стоит чашечка серебряная, в которую вставляется чашечка с кофе и подается вам. Турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сва-

ренный крепко, подается без отстоя.

Между девами-цыганками, живущими в доме, можно найти Земферску, или Земфиру, которую воспел Пушкин и которая, в свою очередь, поет молдавскую песню:

*Арды ма, фрыджи ма,
На карбуне пуне ма! (Жги меня,
жарь меня, на уголья клади меня.
[16])
Но посреди таборов нет Земфи-
ры.*

Я сказал уже, что я боялся не только говорить, но даже быть вместе с Пушкиным; но странный случай свел нас. Заспорив однажды с кем-то, что фамилия Таушев, произносящаяся у с краткою, должна и писаться правильно с краткою, ибо письмо не должно изменять произношению, я доказывал, что должно ввести в употребление у с краткою, и привел наобум следующие четыре стиха:

*Жуковский, Батюшков и Пушкин —
Парнаса русского певцы,
Пафнутьев, Таушев и Слепушкин —*

Шестого корпуса писцы.

— Над *у* не должно быть краткой, *и* — лишнее в стихе; должно сказать:

Пафнутьев, Таушев, Слепушкин, —

кричали все. Я из себя выходил, доказывая, что если в произношении *у* — краткое, то *и* должно быть. В это время вошел Пушкин; ему объяснили спор; он был против меня, и тщетно я уверял, что *у* в фамилии Таушев — то же, что краткое *и*, и что, следовательно, в стихе:

Пафнутьев, Таушев Слепушкин —

и необходимо. Ничто не помогло: Пушкин не хотел знать *у* с краткою.

Вскоре Пушкин, узнав, что я тоже пописываю стишки и сочиняю молдавскую сказку в стихах, под заглавием «Янко-чабан» (пастух Янко), навестил меня и просил, чтоб я прочитал ему что-нибудь из "Янка".[17] Три песни этой нелепой поэмы-буффы были уже написаны; зардевшись от головы до пяток, я не мог отказать поэту и стал читать. Пушкин хохотал от души над некоторыми местами описаний моего «Янка», великана и дурня, кото-

рый, обрадовавшись, так рос, что вскоре не стало места в хате отцу и матери и младенец, проломив ручонкой стену, вылутился из хаты, как из яйца.

Через несколько дней я отправился из Кишинева и не видел уже Пушкина до 1831 года. Он посетил *странника* уже в Москве. "Я непременно буду писать о "Страннике", — сказал он мне. В последующие свидания он всегда напоминал мне об этом намерении. Обстоятельства заставили его забыть об этом; но я дорого ценю это намерение.[18]

"Пора нам перестать говорить друг другу вы", — сказал он мне, когда я просил его в собрании показать жену свою. И я в первый раз сказал ему: "Пушкин, ты — поэт, а жена твоя — воплощенная поэзия". Это не была фраза обдуманная: этими словами невольно только высказалось сознание умственной и земной красоты.

Теперь где тот, который так таинственно, так скрытно даже для меня пособил развертываться силам остепенившегося *странника* ?..[19]

Примечания

Александр Фомич Вельтман (1800–1870) — писатель, учился в Московском университетском пансионе, затем окончил Московскую школу колонновожатых; в 1818 г. он был направлен в Бессарабию военным топографом. В Кишиневе Вельтман познакомился с Пушкиным. Вскоре после гибели поэта Вельтман стал писать свои мемуары, которые он первоначально назвал "Воспоминания о Бессарабии и Пушкине". В 1837 г. в «Современнике» анонимно появилась первая часть их под измененным названием — "Воспоминания о Бессарабии" (т. VII, с. 226–249). "Я узнал его в Бессарабии, и очерк этой страны будет рамой, в которую я вставляю воспоминание о Пушкине", — обещал автор читателю. Продолжения воспоминаний Вельтмана, в котором он переходил от «рамы» к рассказу о его встречах с Пушкиным, в «Современнике» не появилось, по-видимому, по цензурным соображениям; но можно утверждать, что продолжение было написано тогда же, так как бумага первого и второго автографа одинаковая (об этом см.:

Рыскин, с. 74).

Воспоминания Вельтмана рельефно изображают обстановку, в которой пришлось жить Пушкину в Кишиневе. Однако сам поэт изображен лишь беглыми штрихами; по-видимому, между ними существовала дружеская приязнь, не перешедшая в близкие, откровенные отношения; Вельтман был далек от тех беспокойных, полных вольнодумного задора мыслей, которые воодушевляли Пушкина. Кроме того, Вельтман, как мы знаем, предполагал печатать свои воспоминания в «Современнике» и естественно остерегался включать в их текст все то, что могло вызвать нарекания цензуры.

В 1822 г. Вельтман покинул Кишинев и долгое время не встречался с Пушкиным. Но с конца 1820-х годов, начав печататься, он стал посылать Пушкину свои сочинения. В первой половине 1831 г. Пушкин встречается с Вельтманом в Москве; к этому времени Вельтман вышел в отставку и стал профессиональным литератором. Ознакомившись с первой частью романа Вельтмана «Странник», Пушкин писал 8 мая 1831 г. Е. М. Хитрово: "В этой

немного вычурной болтовне чувствуется настоящий талант" (XIV, 426; подлинник по-французски). Тогда же Пушкин посоветовал Вельтману «перелицевать» комедию Шекспира "Сон в летнюю ночь" в фантастический оперный спектакль (об этом см.: Ю. Д. Левин. "Волшебная ночь" А. Ф. Вельтмана. — В кн.: "Русско-европейские литературные связи". М.-Л., «Наука», 1966, с. 85–86).

4 февраля 1833 г. Вельтман, посылая Пушкину свой перевод "Слова о полку Игореве", писал ему: "Александр Сергеевич, *пети было тебе, Велесову внуку, соловию сего времени, песнь Игореву, того Ольга внуку*, а не мне; но досада взяла меня на убогие переводы чудного памятника нашей древней словесности, и я — выкинул в свет также, может быть, недоношенное дитя. Посылаю на суд и осуждение" (XV, 46). Пушкин в своей работе над этим памятником древней русской словесности, которой он был занят в последние годы жизни, использовал и перевод Вельтмана (М. А. Цявловский. Пушкин и "Слово о полку Игореве". — "Вестник АН СССР", М., 1943, N 5, с. 64–81).

Исследователи отмечают точки соприкосновения в творчестве Пушкина и Вельтмана, сравнивая повесть «Кирджали» с повестью Вельтмана «Рада», опубликованной в 1839 г. (об этом см.: Л. Н. Оганян. А. С. Пушкин и молдавская тематика А. Ф. Вельтмана. — "Пушкин на юге", т. II. Кишинев, 1961, с. 211–226).

Примечания

Пушкин приехал в Кишинев 21 сентября 1820 г. за полгода до начала греческого восстания. Битва под Скулянами произошла 29 июня 1821 г. Стихотворение «Война» имеет авторскую датировку — 29 ноября 1821 г.; оно вызвано упорными слухами, что Россия объявит войну Турции. Ранее, 21 августа, в письме к С. И. Тургеневу Пушкин, имея в виду возможные хлопоты об освобождении его от ссылки, добавлял: "Но если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня в Бессарабии" (XIII, 32).

[^^^]

Ошибка мемуариста: К. Н. Батюшков в Кишиневе не жил.

[^^^]

3

Ах, какой вы, мосье Пушкин!

[^^^]

4

Ах, какой вы! Все-то вы шутите!

[^^^]

5

Что вы говорите? Ах, какой вы... Все-то вы шутите!

[^^^]

6

Почему вы не кушаете?

[^^^]

Об эпиграммах Пушкина см.: Т. Г. Цявловская.
Муза пламенной сатиры. — "Пушкин на юге",
т. II, с. 147–198.

[^^^]

Об Алексееве см.: «Прометей», N 10, 1974.

[^^^]

Карточный термин.

[^^^]

Для разнообразия.

[^^^]

В очерке "Илья Ларин" ("Моск. городской листок", 1847, N 8) Вельтман, упоминая о своей встрече с Лариным в 1840-е годы, пересказывает его воспоминания о Пушкине.

[^^^]

Здесь: ходок, бродяга

[^^^]

О происшествии, побудившем Пушкина написать «Братья-разбойники», пишет Мекленбургцев: "В Мандрыковке, близ реки Днепра, находилась тюрьма, из которой во время пребывания поэта бежали два брата-арестанта, побочные дети помещика Засорина, о которых Александр Сергеевич и написал известную поэму «Братья-разбойники». Ныне усадьба принадлежит г. Кулабухову, у которого и имеются на все изложенное данные" ("Приднепровский край", 1899, 6 февраля, N 392).

[^^^]

Кухни.

[^^^]

"Он важен, важен, очень важен... " — стихи Вельтмана из его повести "Странник".

[^^^]

Ср. с воспоминанием П. А. Вяземского: "Покойный М. А. Максимович передавал нам, как в его присутствии кто-то из знакомых сказывал Пушкину, что одна цыганка вместо: "Режь меня, жги меня" пела: "Режь меня, ешь меня". Пушкин был чрезвычайно доволен и говорил, что в следующем издании поэмы непременно сделает эту перемену" (РА, 1874, I, с. 424).

[^^^]

"Янко чабан " — молдавская сказка Вельтмана, осталась ненапечатанной; однако два отрывка из нее писатель включил в свою повесть «Странник», ч. I, с. 96 и 98.

[^^^]

Из трех частей повести «Странник» (1831–1832) в библиотеке Пушкина сохранились изданные вместе вторая и третья части, с надписью: "Александрю Сергеевичу Пушкину Вельтман". Без ведома Пушкина в "Литературной газете" (1834, N 30) была напечатана отрицательная рецензия на повести Вельтмана «Беглец» и «Странник», что раздосадовало Пушкина; 1 июня 1831 г. он писал П. В. Нащокину: "Я сейчас увидел в "Литературной газете" разбор Вельтмана, очень не благосклонный и несправедливый. Чтоб не подумал он, что я тут как-нибудь вмешался. Дело в том, что и я виноват: поленился исполнить обещанное. Не написал сам разбора; но и некогда было" (XIV, 168).

[^^^]

Л. Н. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные опыты. СПб., 1899, с. 102, 117–132, с сокращениями.

[^^^]